

I

— Да, да, сударыни, можете качать головой сколько вам угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас — это... Но я не назову ее, ибо она единственная во всем моем классе скромница, и я боюсь, что стоит мне произнести ее имя, как она тотчас утратит эту редкую добродетель, которой я желаю и вам.

— *In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto*¹, — пропела Констанца с вызывающим видом.

— Амен², — хором подхватили все остальные девочки.

— Скверный злюка, — сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.

— Не по адресу! — произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет по шести часов на дню подвергался дерзким и шаловливым нападениям нескольких поколений юных особ женского пола. — И все-таки, — добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный, насмешливый улей, — эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательная, эта добрая девочка — не вы, синьора Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джульетта, и, уж конечно, не Розина, и еще того менее Микела...

— Значит, это я!

— Нет, я!

— Вовсе нет, я!

— Я!

— Я! — закричало разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, оставленную на берегу отхлынувшей волной.

¹ Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (*лат.*).

² Аминь (*лат.*).

Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности — к тысяче седых, жестких и колючих завитков его профессорского парика), — маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опускаться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но спокойный и бесстрашный, как раковина, уснувшая и окаменевшая среди бурь, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он — всегда такой скупой — только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным собственной хитростью, он взял свою профессорскую трость, которую обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги; затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, примостившейся на ступеньке. Сидя на корточках, опершись локтями на колени и заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она, скрючившись и согнувшись, как обезьянка, вполголоса разучивала урок, чтобы никому не мешать, а он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руку, словно пастух Парис, присуждающий яблоко*, но не самой красивой, а самой разумной.

— Консуэло? Испанка? — закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора.

Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь; она была так погружена в разучивание нот, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот гомон. Заметив наконец, что на нее смотрят, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь. Сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.

— Консуэло, — сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, — иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Salve, Regina» Перголезе*, которую ты разучиваешь две недели, а Клоринда зубрит целый год.

Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами раздался такой чистый, прекрасный голос, какой никогда еще не звучал в этих стенах. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы верно и полно, не была бы вовремя оборвана или выдержана ровно столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и тщательно выполняя его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беспечности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она спела безупречно.

— Хорошо, дочь моя, — сказал маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. — Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти*, уже пройденную нами.

— Si, signor professore¹, — ответила Консуэло. — А теперь мне можно уйти?

— Да, дитя мое. Девушки, урок окончен!

Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги — неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, — которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе. Потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по внутренней лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колени, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась и поблагодарила

¹ Хорошо, синьор профессор (*ит.*).

его, и вышло это так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.

Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.

— Стыдно вам, красавицы! — сказал он. — Эта девочка — а она моложе всех вас и пришла в мой класс последней — только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавирина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть *понимание!*

— Не мог не выпалить своего любимого словечка, — крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел. — Во время урока он повторил его только тридцать девять раз и, наверно, заболел бы, если б не дошел до сорокового.

— Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи? — сказала Джульетта. — Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб.

— Мне говорили, что ее мать цыганка, — добавила Микелина, — и что девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума! Она долбит все наизусть, рабски следует указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие.

— Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу, — сказала красавица Клоринда, — я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне пришлось поменяться с ней наружностью.

— Вы потеряли бы не так уж много! — возразила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.

— Она совсем нехороша собой, — добавила еще одна. — Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но вовсе невыразительные. И вдобавок всегда так плохо одета! Нет, бесспорно: она дурнушка.

— Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты!

Так девушки закончили свой «панегирик» в честь Консуэло и, пожалев ее, вознаградили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.

II

Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви Мендиканти*, где знаменитый маэстро Порпора* только что закончил первую репетицию своей музыки к большой вечерне, которою он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день успения. Молоденькие хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ*, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие «для замужества или для поступления в монастырь», как сказал Жан-Жак Руссо*, восхищавшийся их великолепными голосами незадолго до описываемого времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его «Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелаешь бы снова приняться за мои. На твоём месте я поступил бы точно так же, друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое повествование.

Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и, несомненно, несмотря на неподкупность администрации, в школу проникали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все они следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась